

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“В БОРЬБЕ НЕРАВНОЙ ДВУХ СЕРДЕЦ”

* * *

Над бандой поэтических рвачей и выжиг...

В. Маяковский

Помнится, как в разгар перестройки Виталий Коротич щедро публиковал групповые цветные фотографии известных поэтов-шестидесятников в своём журнале “Огонёк”, выходявшем тогда пяти миллионным тиражом. “**Нас мало, нас, может быть, четверо!**” – восторгался А. Вознесенский своей компашкой: он сам, Е. Евтушенко, Р. Рождественский и “Белка – (Б. Ахмадулина) божественный кореш” – в заснеженном Переделкино, под деревьями, с дежурными улыбками прижавшиеся друг к другу, все в дорогах дублёнках, у каждого в послужном списке поэма о Ленине: у Евтушенко “Казанский Университет”, у Вознесенского “Лонжюмо”, у Рождественского “210 шагов” (если считать от Спасской башни до мавзолея). Поэмы эти – дорогого стоят. Каждая из них не только идеологическая “охранная грамота”*, но и свидетельство о благонадёжности, можно сказать, дубликат партбилета, пропуск во все кабинеты на Старой площади. Правда, у “божественного кореша” ничего о Ленине нет, но из своей родословной она кое-что наскребла о каком-то итальянском предке – Стопани, якобы социал-демократе, революционере. Но на коллективной фотографии видно, что Р. Рождественский чувствует себя как-то не вполне на месте. Глаза в сторону отвёл, позирует с какой-то стыдливостью. Стесняется, на манер Альхена из знаменитого романа Ильфа и Петрова... Всё-таки он самый советский из них, сын офицера, автор песен к знаменитому сериалу о чекисте из культового фильма “17 мгновений весны”... И назван в честь латыша из ленинской гвардии Роберта Эйхе. Неловко как-то Рождественскому стоять в обнимку с Евтушенко, заменившему к тому време-

* У подлинных русских поэтов (Н. Рубцов, А. Передреьев, Г. Горбовский, А. Прасолов, Ю. Кузнецов, В. Соколов, В. Казанцев, Ст. Куняев, Г. Ступин, В. Сорокин, В. Лапшин), вышедших из простонародья, таких “охранных грамот” не было да и быть не могло, поскольку никто из них органически не мог заявить, подобно Р. Рождественскому, “по национальности – я советский”. Они ощущали себя русскими людьми советской эпохи.

ни строчки о России, которую он якобы “любит”: “дух её пятистенков, дух её кедрача, её Разина Стеньку и её Ильича” на другой вариант: “дух её пятистенков, дух её сосняков, её Разина Стеньку и её стариков”... Нехорошо так стихи переделывать, не по-советски. И на фото видно, как Р. Р. чуть отворачивается от Е. Е., стесняется вроде бы, стыдится... Однажды место “божественного кореша” в знаменитой четвёрке на огоньковской странице занял другой блистательный “шестидесятник” – Булат Окуджава. Поскольку у него был настоящий полноценный стихотворный цикл о Ленине (а не о каком-то неизвестном итальянце – не то анархисте, не то ревизионисте), то и в ленинскую четвёрку он вписался с гораздо большим основанием, нежели Ахмадулина. Дело в том, что у Булата в его первой книге “Лирика”, вышедшей в Калуге в 1956 году аккурат к XX съезду партии – о Ленине было написано столько, что хоть пригоршнями черпай: “Мы приходим к нему за советом, приходим за помощью. Мы встречаемся с ним ежедневно и в будни и в праздники”. Конечно, это послабее, нежели у А. Вознесенского: “И Ленин как рентген просвечивает нас”*, но зато искренне сказано и без подтекста: ведь рентгеном – то облучаться постоянно – вредно и даже опасно для жизни.

А вот ещё из калужской книги Булатика, как любила его называть Белла: “Калуга дышала морозцем октябрьским и жаром декретов, подписанных Лениным”. А может быть, это был пресловутый тоталитарный декрет “О борьбе с антисемитизмом”? Далеко смотрел Булат Шалвович! А вот его стишок о Франции, в котором, как в зёрнышке, просматривается весь план будущей поэмы Вознесенского “Лонжюмо”:

*И в этом бою неистовом
рождается и встаёт
в поступи коммунистов
будущее моё.
И в кулаках матросских,
в играх твоих детей,
и в честных глазах подростка,
продающего “Юманите”.*

Булату к выходу калужской книги (1956 г.) исполнилось 34 года. Человек зрелый, за свои слова отвечающий, он вскоре напишет эпохальные строчки о “комиссарах в пыльных шлемах”, до образа которых ни один из его младших друзей по великолепной четвёрке не додумался. Не зря же какой-то его родственник с фамилией “Окуджава” (а может, даже отец?) вместе с Лениным приехал в Россию весной 1917 года в запломбированном вагоне.

Но всё-таки Р. Р. и от Окуджавы на фотографии отодвинулся, как чуял, что Окуджава пойдёт по стопам Евтушенко, предаст идеалы Революции и отречётся от великого ленинского завета о том, что мы должны научить “кухарку управлять государством”.

Оно так и вышло: вскоре Роберту Ивановичу пришлось испить чашу разочарования, когда он прочитал стихотворенье Булата в демократической газете “Литературные вести”, редактируемой Валентином Оскоцким, ставшим известным после того, как он научился во время митингов 90-х годов на манежке громче всех кричать: “фашизм не пройдет!”:

*Кухарку приставили как-то к рулю,
она ухватилась, паскуда,
и толпы забежали по кораблю,
надеясь на скорое чудо.*

*Кухарка, конечно, не знала о том,
что с нами в грядущем случится.*

* “Ленинские заклинания” вообще были козырной картой А.В. Кроме “Лонжюмо” он “изваял” еще “Секвойю Ленина”, “Уберите Ленина с денег – он для сердца и для знамён” и т.д. Этот почти религиозный культ вождя был настолько иррационален, что в последние годы жизни поэт, которого часто показывали по ТВ сидящим в кресле, стал похож на своего кумира, сидящего в такой же позе и почти в таком же кресле на знаменитой фотографии, сделанной в Горках в 1923 году.

*Она и читать-то умела с трудом,
ей некогда было учиться.*

*Кухарка схоронена возле Кремля,
в отставке кухаркины дети.
Кухаркины внуки спуют у руля:
и мы не случайно в ответе.*

Прочитал Роберт этот паскудный антинародный стишок и закручинился – вот и Окуджава предал Ленина, скурвился, а ведь писал в калужской книжке:

*Всё, что создано нами прекрасного,
создано с Лениным,
всё, что пройдено было великого,
пройдено с ним.*

И в стихотвореньи “В музее Революции” клялся:

*Я по прошлому иду —
я его не подведу.*

И людей труда из простонародья, комбайнёров, убирающих хлебное поле, уважал:

*И когда вы хрустите жаркой
хлебною коркою, знайте,
Сашка не дрейфит,
он железно стоит у руля...*

“Да, – размышлял Роберт Иванович, глядя на огоньковскую фотографию, – надо было отодвинуться от ренегата и руку снять с его плеча. Но сукин сын Коротич настоял на этой композиции. У него, кстати, тоже есть поэма о Ленине – “Том 54” – об очередном томе ленинского собрания сочинений. Но не выдержал, пересмотрел убеждения, пошёл по антиленинской дорожке, как и Олжас Сулейменов... А какая у Олжаса была замечательная поэма “От января до апреля”, к столетию со дня рождения Ильича написанная! Как смело эти нацмены подходили к ленинской теме с такой стороны, с которой ни один из нас, московских поэтов, подойти не решался:

*Его таким нарисовал Андреев,
его один бы бог не сотворил.
Арийцы принимали за еврея
его, когда с трибуны говорил.
Он знал, он видел, оставляя нас,
что мир курчавится, картавит и смуглеет...
.....
Он, гладкое поглаживая темя,
Смеётся хитро, щуря глаз калмыцкий.
Разрез косою ему прибавил зренья,
Он видел человечество евреев”.*

Вспомнил эти стихи Роберт Иванович и расстроился: “Нет, не разрешала нам в Москве цензура, ни за что не разрешала такое написать и напечатать! Это только им, нацменам, можно было своё мнение иметь по национальному вопросу. Вроде идеология у нас одна, цензура одна. “По национальности я советский!” – что, плохо, что ли у меня сказано? Но только Олжасу, моему другу, дозволяется утверждать, что в будущем всё человечество станет “евреями”. Ну разве не обидно?”

Роберт вздыхал и вспоминал слова близкой ему верной и мудрой женщины: “Не горячись, Роба, ещё неизвестно, как жизнь обернётся. Вспомни, что партия доверила тебе как настоящему “шестидесятнику” в 27 лет руководить крупнейшим идеологическим отрядом – московской писательской организацией, что ты член партии, что с 1957 по 1982 год ты издал 70 стихотворных

Сколько бы их ни было, они погибли от нашей руки. Оказалось также, что я могу убить и потом спокойно спать и есть. <...>

Мы вырвали у них страну. Ну а пока мы получаем всё, о чём условились то ли с Воландом, то ли с Мефистофелем, то ли с Ельциным” (“Огонёк”, № 2–3, 1994 г., стр. 26). А в своей книге “По ту сторону отчаяния” В. Новодворская добавила:

“Я благодарна Ельцину... Пойдём против народа. Мы ему ничем не обязаны... Мы здесь не на цивилизованном Западе. Мы блуждаем в хищной мгле, и очень важно научиться стрелять первыми, убивать...”

Конечно же “бал королей Сатаны”, “Воланд” и “Мефистофель” возникли в воображении Новодворской не случайно: она возрастала, как ведьма и гражданка, не только на песнях Окуджавы, но и на стихах Ахматовой, и на прозе Булгакова. “Любовь, исполненная зла” заразительна. Её статья явилась естественным продолжением “расстрельного” письма 42-х писателей, написанного в стиле письма Ленина “об изъятии церковных ценностей” и опубликованного в “Известиях” 5 октября 1993 года. Разве что градус патологической ярости у Валерии был покруче. Хотя и в известинском письме защитники Российского парламента, убиенные в тот день, были названы **“красно-коричневыми оборотнями”**, **“ведьмами”**, **“убийцами”** и **“хладнокровными палачами”**, как будто не их тела были октябрьской ночью погружены на баржу и увезены в неизвестном направлении, а трупы Ельцина, Лужкова, Гайдара и прочих “гуманистов”, “борцов за права человека”.

Для статистики и для суда потомков будет полезно знать, что из 42-х подписантов “известинского письма” две трети – это классические “шестидесятники”, “дети XX съезда партии”. Это Алесь Адамович, Белла Ахмадулина, Григорий Бакланов, Зорий Балаян, Татьяна Кузовлева, Александр Борщаговский, Александр Гельман, Андрей Дементьев, Александр Иванов, Римма Казакова, Юрий Карякин, Яков Костюковский, Александр Кушнер, Татьяна Бек, Юрий Левитанский, Андрей Нуйкин, Булат Окуджава, Владимир Савельев, Юрий Черниченко, Андрей Чернов, Мариэтта Чудакова и др.

Я перечисляю эти имена, потому что страна не должна забывать “героев” Великой Криминальной Революции. Видимо, по нелепой случайности почти половина подписантов оказались потомками сефардов и ашкенази. И, конечно же, все они были единомышленниками и всё, что у “шестидесятницы” и существа неизвестной национальности Валерии Новодворской “было на языке”, у них “было на уме”. Недаром такими же, как у Новодворской, чувствами была переполнена душа её кумира Булата Окуджавы:

“Мы ловили каждый звук с наслаждением” (Новодворская о взрывах танковых коммулятивных снарядов в Белом Доме); **“Для меня это было финал детектива. Я наслаждался этим <...> никакой жалости у меня к ним не было”** (слова Окуджавы из интервью газете “Подмосковные известия”, 11.12.1993 г.).

Вскоре после октябрьской бойни Окуджава приехал на гастроли в Минск, где перед кинотеатром, в котором он должен был выступать, часть его бывших поклонников вывесила плакат со словами:

*В Москве палач царил кроваво
И наслаждался Окуджава.*

А известный киноактёр Владимир Гостюхин прилюдно на сцене раздавил каблуком пластинку с записью песен барда-шестидесятника.

“Я желала тем, кто собрался в “Белом Доме” одного – смерти”, – пишет Новодворская. Но история умеет зловеще шутить: из 42-х жаждущих крови “гуманистов” через 20 лет после их торжества на сегодня осталось в живых лишь шестеро: Даниил Гранин, Андрей Дементьев, Татьяна Кузовлева, Александр Кушнер, Андрей Нуйкин и Мариэтта Чудакова. Я рекомендую им перечитать откровения госпожи Новодворской и ещё раз **насладиться** воспоминаниями о своей позорной победе. “Панк-молебен” нынешней группы Pussy Riot – это всего лишь детский лепет по сравнению с фундаментальным кошунством Новодворской:

“Я не питаю ни малейшего уважения или приязни к русской православной церкви”, “Такие, как я, вынудили Президента на это (на расстрел Парламента. – Ст. К.) решиться и сказали, как народ иудейский Пилату: Кровь Его на нас и на детях наших”, “Один парламент под назва-

нием Синедрин уже когда-то вынес вердикт, что лучше одному человеку погибнуть, чем погибнет весь народ"... В ненависти к христианству и его создателю Новодворская выступает как достойная ученица Емельяна Ярославского и Демьяна Бедного. А теперь некоторые соображения об ответственности за смерть нескольких сотен защитников российского парламента.

"Они, — пишет Новодворская в "Огоньке", — погибли от нашей руки, от руки интеллигентов <...> не следует винить в том, что произошло, мальчишек-танкистов и наших командос-омоновцев. Они исполнили приказ, но этот приказ был сформулирован не Грачёвым, а нами", "Мы предпочли убить и даже нашли в этом моральное удовлетворение". Вы согласны с этим, Мариэтта Чудакова? Если — "да", то не забывайте, что у всех убитых в ночь на 4 октября 1993 г. есть отцы, матери, братья, сёстры, возмужавшие дети, что они в любое время могут встретиться с Новодворской или с вами на московских улицах и узнать вас в лицо. И что им останется делать? — Самое гуманное — это плюнуть в вашу Pussy'ю морду... За что? За ненависть к советскому простонародью и за то, что вы все в те чёрные дни подготовили для власти "идеологию расстрела". В этом Новодворская права. Скажите ей спасибо за честность и вспомните, как вы кричали на судьбоносной встрече "интеллигенции" с Ельциным: "Борис Николаевич! Действуйте!"...

Прадедом Новодворской, как свидетельствует Википедия, был профессиональный революционер из белорусского местечка Барановичи, организовавший первую социал-демократическую типографию в Смоленске. Видимо, был сослан в Сибирь, где в казённом остроге родился её дед, воевавший в Первой Конной армии Будённого.

Отец, по её собственному признанию, уехал в Америку, изменив свою настоящую фамилию. Так что у нашей революционной фурии тяжёлая наследственность — комплекс комиссарши, осложнённый неизлечимым приступом ренегатства.

Тот же самый диагноз, что у Гайдара, у Окуджавы, у Василия Аксёнова — столкновение двух несовместимых, взаимоисключающих заболеваний, ведущее к шизофрении, то есть к раздвоению личности.

Единственный, кто из 42-х подписантов сатанинского письма прилюдно ужаснулся октябрьской бойне, был писатель Юрий Давыдов. Остальные, промолчав, согласились с Новодворской, что они "убийцы", члены фарисейского "Синедрина", и такие же местечковые демоны "той единственной гражданской", какими были Розалия Землячка-Залкинд, Лариса Рейснер, Софья Гертнер из питерского ЧК, Евгения Бош, Ревекка Мойзель и прочие "комиссарши", хорошо изображённые в стихотворенье Ярослава Смелякова "Жидовка". Но наши нынешние по сравнению с ведьмами той эпохи куда более прагматичны. Как пишет Новодворская, они **"выскочили на Красную площадь"**, чтобы защищать не только **"свободу"** и **"Президента"**, но и **"нашу будущую собственность, и нашу будущую же законность"**.

И ещё два слова о том, "отстирывается" ли "свежая кровь". Через какое-то время после 4 октября российское телевидение показало словесную схватку между подписантом "письма 42-х" Андреем Нуйкиным и Вадимом Кожинным. Секундантом дуэли был, кажется, тележурналист из "Взгляда" Александр Любимов. Когда схватка, которую Нуйкин проиграл вчистую, закончилась, Любимов предложил противникам пожать друг другу руки. Нуйкин протянул руку Кожиннову, но тот отказался от рукопожатия со словами: "Ваша рука в крови"...

Новодворская, Окуджава, Чудакова, Карякин и прочие отвязанные демократы забыли пророческие стихи своей любимицы Анны Андреевны Ахматовой:

*Привольем пахнет дикий мёд,
Пыль — солнечным лучом,
Фиалкою — девичий рот,
А золото — ничем.
Водю пахнет резеда,
И яблоком — любовь.
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь.*

* Имеется в виду "письмо 42-х".

*И напрасно наместник Рима
Мыл руки пред всем народом,
Под зловещие крики черни;
И шотландская королева
Напрасно с узких ладоней
Стирала красные брызги
В душном мраке царского дома...*

Всё-таки, несмотря на то, что она любила балансировать на грани добра и зла, и на все свои сомнительные связи с потусторонним миром, Анна Андреевна была много умнее экзальтированных ведьм Великой Криминальной революции – Валерии Новодворской и Мариэтты Чудаковой. Как писал Михаил Булгаков, “рукописи не горят”. Но, оказывается, письма* не горят тоже.

* * *

Истерика Хрущёва, которую он устроил Вознесенскому во время встречи руководителей партии с интеллигенцией (после которого бедного Андрюшу “мучили страшные рвоты”, “я перестал есть”, “нашли даже какое-то утоншение стенки пищевода”), была полным недоразумением. Они вполне могли понять друг друга, поскольку оба ратовали за “ленинские нормы жизни”, одновременно издеваясь над православием: Хрущёв обещал обществу через 20 лет показать последнего попа, а Вознесенский припечатывал людей, избравших монашескую судьбу, – “Крест на решётке – на жизни крест”...

И Хрущёв, и Вознесенский ненавидели Сталина как термидорианца и диктатора, как “убийцу революции” не меньшей ненавистью, нежели та, которая клочотала в жилах Льва Троцкого. Впрочем, все известные либеральные “шестидесятники” – от Войновича до Аксёнова, от Окуджавы до Гладиллина были за продолжение революции, все были авторами книг серии “Пламенные революционеры”, все они в эпоху оттепели устроили “заговор против Сталина”, который не сумели реализовать их отцы при жизни “тирана”. И Михаил Шатров свою пьесу “Дальше... дальше... дальше!” не зря же написал в хрущёвское время как бы от имени “пламенных революционеров” то ли ленинского, то ли троцкистского “разлива”, как вызов ненавистному сталинизму.

У каждого из “маяковской троицы” “шестидесятников”, кроме обязательной поэмы о Ленине, был ещё свой личный любимец из революционной эпохи.

У Вознесенского – это Тухачевский, который “играл на скрипке” и “ставил на талант”. Поэт, видимо, не знал, что его кумир травил газами восставших тамбовских крестьян, то есть “ставил на террор”.

У Роберта Рождественского любимцем был Роберт Эйхе (в честь которого дали имя будущему поэту), партийный руководитель Западно-Сибирского громадного края. В стихотворении “О моём имени” стихотворец рыдал над судьбой этого латышского революционера, погибшего в год “Большого террора”, потому что, как и Вознесенский, плохо изучал историю родного отечества и не знал, что летом 1936 г., когда Сталин с небольшой группой своих единомышленников попытался сделать выборы в Верховный Совет СССР более демократическими, с включением в избирательный бюллетень кандидатов от общественных организаций, то против этого проекта выступила целая когорта “пламенных революционеров”, руководителей республиканских и областных парторганизаций. Возглавлял эту когорту Р. Эйхе. Эти партийные бароны, испугавшиеся, что после кровавой коллективизации население не выберет их в Верховный Совет, решили “зачистить” электорат и потребовали от Сталина, чтобы он дал им право на “лимиты”, по которым они отправили бы на расстрел и в ссылку всех выявленных в своих регионах контрреволюционеров. **“Самыми кровавыми”, – пишет в своей книге “Иной Сталин” историк Ю. Жуков, – оказались двое: Р. И. Эйхе, заявивший о желании только расстрелять 10 800 жителей Западно-Сибирского края, не говоря о ещё не определённом числе тех, кого он намеревался отправить в ссылку; и Н. С. Хрущёв, который сумел подозрительно быстро разыскать и “учесть” в Московской области, а затем и настаивать на приговоре к расстрелу либо высылке 41 305 “бывших кулаков и уголовников”.** Вот таков был вдохновитель и организатор XX съезда КПСС.

Сталин, не обладавший тогда полной властью, проиграл “агрессивному революционному большинству” схватку за демократизацию избирательной системы. Всё, что он мог – так это вдвое снизить цифру в графе “Расстрел” из списков Эйхе, Хрущёва и других их союзников. Однако он не забыл унижительного поражения, и большая часть “партийных баронов”, требовавшая “лимитов”, – была репрессирована в течение последующих нескольких месяцев. Вот так Р. Эйхе оказался жертвой сталинизма и героем стихотворения Р. Рождественского.

А Евгений Евтушенко благоговел перед Ионой Якиром, о памятнике которому он возмечтал в годы перестройки: **“Якир с пьедестала протянет гранитную руку стране”**. Мало того, что у нас на всех площадях стоял Ленин с вытянутой рукой, так нам ещё Якира не хватало в той же позе. Видимо, Е. Е. хотел, чтобы та “гранитная рука” указывала на донские земли, где Якир рассказывал станции, не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей.

Все известные “шестидесятники” бредили Серебряным веком. Но персонажи Серебряного века при всём их растлении – нравственном, эстетическом, религиозном, сексуальном – субъективно всё-таки были людьми честными и за свои грехи рано или поздно расплачивались эмиграцией, нищетой, самоубийствами, одиночеством, искалеченными судьбами, смертями в домах призрения... Наши же, ненавидя одним полушарием мозга образ жизни, сложившийся в Советском Союзе, родное государство, тоталитарный режим, другим полушарием сочиняли стихи и поэмы в честь основателя этого государства, во славу социализма истроек коммунизма, клялись в любви к певцу советского отечества Маяковскому, получали Ленинские и Государственные премии, выполняли некоторые деликатные поручения КГБ, при этом проклиная в душе “кровавую гёбну”... Политическая, мировоззренческая и душевная шизофрения – вот главный диагноз, главная болезнь либерального шестидесятиничества.

Владимир Маяковский является основоположником советской “ленинианы”, которая началась с его монументальной поэмы о Ленине. Продолжателей, подражателей и эпигонов у него после смерти появилось много. Маяковский верил, что рано или поздно советская наука найдёт способы воскрешения людей и жаждал быть воскрешённым. Талантливый литератор Юрий Карабчиевский в книге “Воскресение Маяковского” пришёл к мысли, что это чудо **“уже имело место в советской реальности <...> произошло это, разумеется, в виде фарса и сразу в трёх ипостасях. Три поэта: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Каждый из них явился пародией на какие-то стороны его поэтической личности.**

Рождественский – это внешние данные, рост и голос, укрупнённые черты лица, рубленные строчки стихов. Но при этом в глазах и в словах туман, а в стихах халтура, какую разве лишь в крайнем бессилии позволял себе Маяковский.

Вознесенский – шумы и эффекты, комфорт и техника, и игрушечная заводная радость, и такая же злость.

Евтушенко – самый живой и одарённый, несущий всю главную тяжесть автопародии <...> Ни обострённого чувства слова, ни чувства ритма, ни, тем более, сверхъестественной энергии Маяковского – этого им было ничего не дано <...> они заимствовали одну важнейшую способность: с такой последней, такой отчаянной смелостью орать верноподданнически клятвы, как будто за них – сейчас на эшафот, а не завтра в кассу...”

Невозможно себе представить Маяковского, преподающего какой-то курс по русской поэзии в какой-то американской Оклахоме, чем много лет занимается его “автопародия”.

Но ежели всё-таки наука добьётся воскрешения нас, грешных, и Маяковский встретится в каком-нибудь из миров со своими “тремя ипостасями”, то, грозно взглянув на них, он может позволить себе прочесть своим громовым голосом:

*Явившись в ЦККа
грядущих светлых лет,
над бандой
поэтических рвачей и выжиг*

*я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих партийных книжек.*

* * *

Серебряный век с его воплями о том, что “человек — это звучит гордо”, “человек — мера всех вещей”, “если Бога нет, то всё позволено”, “поэтам вообще не пристали грехи”, в сущности, требовал от общества признания новой языческой религии, которая в наше время стала называться “правами человека”.

Конечно, советским вождям никакая религия, кроме религии социализма, понравиться не могла. Но всё, что произнёс Жданов о творчестве Ахматовой и Зощенко, выглядит либеральным детским лепетом рядом с оценками Серебряного века многими знаменитыми людьми русской литературы.

Из выступления И. А. Бунина на юбилее газеты “Русские ведомости” 8 октября 1913 г.

“Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьёзность, простота, непосредственность, благородство, прямота, — и морем разлилась вульгарность и дурной тон, — напыщенный и неизменно фальшивый... Опошлен стих. Чего только не проделывали мы за последние годы с нашей литературой, чему только не подражали мы <...> каких только стилей и эпох не брали, каким богам не поклонялись? Буквально каждая зима приносила нам нового кумира. Мы пережили и декаданс, и символизм, и натурализм, и порнографию, и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и “пролёт в вечность”, и садизм, и прятие мира, и неприятие мира, и адамизм, и акмеизм... Это ли не Вальпургиева ночь!”

В конце своего выступления, произнесённого скорее всего под влиянием Пушкинской речи Достоевского, Бунин высмеял творчество тех кумиров Серебряного века, “которые задавались целью совершенно устранить из литературы этический элемент, проповедовать безграничный индивидуализм, разнузданность все позволяющей личности, прославлять под видом утончённости разврат, <...> прославлять смерть, квиэтизм и даже самоубийство”.

В том же году Иван Бунин, когда ему задал вопрос какой-то газетный корреспондент: “Каково Ваше отношение к Пушкину”, — ответил: “Никак я не смею относиться к нему”. Об этом исчерпывающем ответе великого писателя не надо бы забывать, помня, как амикошонски относились к Пушкину кумиры Серебряного века.

... В мае 1918 года Александр Блок встретился с молодыми поэтами Петербурга, которые жили стихами символистов, акмеистов, футуристов... “Барышня с глазами, как большие тусклые агаты, говорила спокойным и равнодушным тоном.

— До революции у нас был кружок из двенадцати человек. Мои родители называли его “клубом самоубийц”. Действительно, не так давно пятеро из них покончили с собой: трое совсем, а двое не совсем; остальные разошлись как-то сами собою”.

После этой встречи Блока провожал домой молодой поэт Валентин Стенич и рассказывал ему о себе и своих друзьях:

“Мы все обеспечены и совершенно не приспособлены к тому, чтобы добывать что-нибудь трудом. Все мы наркоманы, опиисты, женщины наши — нимфоманки <...> Нас ничего не интересует, кроме стихов. Все мы — пустые, совершенно пустые <...>. Вы же ведь и виноваты в том, что мы такие...”

— Кто “мы?” — спросил Стенича Блок.

“Вы, современные поэты. Вы отравляли нас. Мы просили хлеба, а вы нам давали камень. — Я не сумел защититься; и не хотел; и... не мог” (А. Блок. “Русские денди”).

А незадолго до смерти, в апреле 1921 года Блок напишет в своём роде литературное завещание “Без божества, без вдохновенья”, в котором, говоря об акмеизме, произнесёт своеобразный приговор многим модным поэтам своего собственного Серебряного века;

“Если бы они все развязали себе руки. Стали хоть на минуту корявыми, неотёсанными, даже уродливыми, и оттого более похожими на свою родную,

искалеченную, сожжённую смутой, развороченную разрухой страну! Да нет, не захотят и не сумеют... Они хотят быть знатными иностранцами...” Высочайшим требованиям Блока о поэте, **“похожем на свою родную, искалеченную, сожжённую смутой, развороченную разрухой страну”**, в то время соответствовал лишь один Сергей Есенин, автор “Пугачёва”, “Страны негодяев”, “Анны Снегиной”, Сергей Есенин, о котором акмеистка Ахматова, прошедшая школу “Башни” Вяч. Иванова и “Бродячей собаки”, в 30-х годах отзывалась так: “Сначала, когда он был имажинистом, его нельзя было раскусить, потому что это было новаторство. А потом, когда он просто стал писать стихи, сразу стало видно, что он плохой поэт. Он местами совершенно неграмотен <...> В нем ничего нет — совсем небольшой поэт. Иногда ещё в нём есть задор, но какой пошлый! <...> Пошлость. Ни одной мысли не видно... И потом такая чёрная злоба. Зависть. Он всем завидует...” (П. Н. Лукницкий. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1, стр. 37). Но сколько зависти было в словах Ахматовой о Есенине, когда вся страна в 1965 году праздновала 70-летие поэта! Я был тогда со многими своими друзьями в Константиново, где многотысячное море людей пело, плясало, слушало и читало стихи любимого народного поэта. Но Чуковская вспоминает, что говорила Анна Андреевна в этот поистине незабываемый для России день:

“8 октября 65... Помолчали. — Вы заметили, — спросила она, — кто именно во всё горло чувствует нынче Есенина?... Зелинский, Сергей Васильев, Куняев, Прокофьев... Заметили, что Есенина выдвигают сейчас в противовес Маяковскому?”

Среди либералов широко распространено мнение, что Анна Ахматова, не смотря на цикл из 10 стихотворений, написанных и опубликованных к 70-летию вождя в 1950 году, была убеждённой антисталинисткой. Однако некоторые её исторические оценки противоречат этому убеждению. Любопытно то, что для Ахматовой Владимир Маяковский был куда более значимой фигурой в русской поэзии, нежели Сергей Есенин. В 1940 году она написала апологетическое стихотворение, посвящённое своему современнику по Серебряному веку, которое заканчивалось строчкой: “В каждом слове бился приговор” — “приговор” старому миру. Революционность Маяковского была куда ближе её душе, нежели народность Есенина, о котором товарищ Сталин не вспомнил ни разу в жизни, а Владимира Маяковского, подобно Ахматовой, объявил “лучшим и талантливейшим поэтом советской эпохи”. Так что полными антиподами Иосиф Сталин и Анна Ахматова, видимо, не были. Может быть, поэтому в стихотворном цикле 1950 года, о котором либеральная общественность старается забыть, как о досадном недоразумении из жизни поэтессы, есть несколько стихотворений, отмеченных печатью подлинного вдохновения и таланта.

При всём своём уме, пронизательности и чувстве времени Ахматова, видимо, из-за уязвившей её душу зависти “не заметила”, что Есенина к середине XX века “выдвинули” не мы грешные, а сама История. Я думаю, что Георгию Васильевичу Свиридову были известны суждения Ахматовой о Есенине, потому что его нижеследующие слова звучат как прямая полемика с ней:

“В лютых бедствиях, в окопах войны, в лагерях и тюрьмах, в изгнании на чужбине народ пронёс с собой Есенина, его стихи, его душу. Не славе Есенина завидуют Маяковский, Пастернак, Цветаева и многие другие поэты, а народной любви к нему, так же, как Сальери завидует не славе и не гениальности Моцарта, а любви к его мелодиям слепого скрипача и трагичной публики. Вот ведь в чём соль! Завидуют, говоря затрёпанным без нужды словом, его народности”.

Даже Наум Коржавин, поэт весьма либеральных убеждений, эмигрировавший в своё время в Америку, и тот в статье “Анна Ахматова и Серебряный век” честно признавался: **“Среди деятелей этого “века” было много чистейших людей. Но проповедовали они часто худое: допустимость грязи, подлости, даже убийства”** <...> **“Были люди — самоубийством кончали, если выяснялось, что не выдерживают экзамены на исключительность”** <...> **“Никто даже из хороших поэтов не избежал воздействия отравленной атмосферы той эпохи”** (“Новый мир”, 1989 г., № 7).

Для вящей убедительности своей правоты можно еще привести суждения честнейшего философа эпохи Серебряного века Семёна Франка, являющегося авторитетом для многих интеллектуалов, в том числе и еврейского проис-

хождения: **“Самый трагический и с внешней стороны неожиданный факт культурной истории последних лет – то обстоятельство, что субъективно чистые, бескорыстные и самоотверженные служители социальной веры оказались не только в партийном соседстве, но и в духовном родстве с грабителями, корыстными убийцами, хулиганами и разнужданными любителями полового разврата, – этот факт все же с логической последовательностью обусловлен самим содержанием интеллигентской веры, именно ее нигилизмом: и это необходимо признать открыто, без злорадства, но с глубочайшей скорбью. Самое ужасное в этом факте именно в том и состоит, что нигилизм интеллигентской веры как бы сам невольно санкционирует преступность и хулиганство и дает им возможность рядиться в мантию идейности и прогрессивности...”**

Сергей Кара-Мурза вспомнил эти слова Семёна Франка, рассуждая о кумире шестидесятников Владимире Высоцком, культовой фигуре нескольких эпох – от хрущевской до ельцинской: **“Именно то, о чем писал Л. Франк, мы видели в среде наших нигилистов, антисоветчиков-шестидесятников. Какие песни сделали В. Высоцкого кумиром интеллигенции? Те, которые подняли на пьедестал вора и убийцу. Преступник стал положительным лирическим героем в поэзии! Высоцкий, конечно, не знал, какой удар он наносил по обществу, он не резал людей, он “только дал язык, нашел слово” – таков был социальный заказ элиты культурного слоя. Как бы мы ни любили самого Высоцкого, этого нельзя не признать...”**

Можно, конечно, возразить, что такого рода оценки крайне пристрастны, что о вкусах не спорят, что это разборки между собой людей искусства, по-разному понимающих его цели и задачи, что Толстой не признавал Шекспира, что *“у поэтов есть такой обычай – в круг сойдясь, оплёвывать друг друга”* и т. д.

А кому же тогда верить? За кем остаётся последнее слово, когда речь идёт о незаурядных талантах?

Трагедия русской жизни в эпоху Серебряного века была усугублена ещё тем, что единственная духовная сила, могущая противостоять тотальной бесовщине – русское православие, – была поражена тем же недугом распада.

Известный православный писатель Сергей Иосифович Фудель в книге воспоминаний приводит слова своего отца священника Иосифа Фуделя, чьим духовным чадом был Константин Леонтьев: **“Люди, живущие жизнью церковной, скорбят о том, что наши приходы и обезличены, и не проявляют даже признаков жизни”**. А от себя Сергей Иосифович добавлял: **“Святая Русь”** умирала изнутри, идея сохранения христианства в массах терпела страшное крушение <...> период перед Первой мировой войной был наиболее душным и страшным периодом русского общества. Это было время ещё живой **“Анатэмы”**^{*}, ещё продолжающихся **“огарков”** и массовых самоубийств молодёжи, время разлива сексуальной литературы, когда сологубы, вербицкие, арцибашевы буквально калечили людей <...> Главная опасность этого времени заключалась в том, что даже лучших людей оно точно опаяло иссушающим ветром”.

Единственным воином на поле духовной брани в начале XX века в России оставался лишь Иоанн Кронштадтский, который с поистине аввакумовской страстью бичевал пороки Серебряного века и всех его кумиров. Модные поэтессы мечтали стать **“мраморными”**, поэты бронировали себе места на площадях (*“мне бы памятник при жизни – полагается по чину”*, – В. Маяковский; *“В России новой, но великой поставят идол мой двуликий”* – В. Ходасевич; *“Чтоб и моё степное пенье сумело бронзой прозвенеть”* – С. Есенин), а Иоанн Кронштадтский задолго до этих деклараций поставил диагноз их гордыне и непомерному тщеславию:

“Наши светские литераторы, писатели при жизни своей сами себя делают богами, и по смерти желают своим собратьям по перу дорогих памятников на видных местах <...> Самомнения – бездна...”

^{*} **“Анатема”** – чрезвычайно популярная в те годы пьеса Леонида Андреева, исполненная патологического кошунства. **“Огарками”** назывались участники тусовок, собиравшиеся на ночные оргии, название пришло из книги писателя А. Скитальца **“Огарки. Типы русской богемы”**, 1906.

Порой он смиренно просил “властителей дум”, зная силу их соблазнительных талантов, не забывать о душе и о Боге:

“Господа писатели! Мысль ваша и язык ваш обтекает всю землю, о всём вы мыслите и пишете, только не заглядываете в свою душу, а всё ли благополучно в ней...”

Иногда великий проповедник доходил чуть ли не до отчаяния и горевал, видя, как кумиры толпы употребляют во зло свой дар, полученный ими по Высшей Воле от природы:

“Светские писатели, пишущие многоглаголиевые романы, увлекающие искусно составленными рассказами о вымышленных или действительных лицах и их пустой страстной жизни <...> пожнут тление. Сеяли суету, суету и пожнут <...> Ты один, Господи, можешь очистить загнившую нравственную атмосферу русского юношества и людей зрелого возраста, зачитавшихся еретиком Львом Толстым и вообще гнилою литературою России и Запада”.

Иоанн Кронштадтский не случайно упомянул имя Толстого, так же как не случайно его идейный враг В. Ленин в те же самые годы назвал Толстого “зеркалом русской революции”. Но Толстой был революционером не только потому, что его так высоко ценил Ленин, и не только потому, что в памфлете “Не могу молчать” (1908 г.) он со всей исполинской мощью своего авторитета обрушился на столыпинскую власть за её зверские расправы над “террористами” и “бунтовщиками”, и даже не потому, что великий писатель отпал от церкви. Нет, главной сущностью его “как революционера” стало то, что над его прахом возвысился зелёный холм без креста... Ведь даже поэт советской эпохи Николай Рубцов знал, что **“каждому на Руси памятник – добрый крест”... “Тихо ответили жители – каждому памятник – крест”...**

А Льва Толстого похоронили **“без церковного пения, без ладана, без всего, чем могила крепка”**. Скорее по-ленински, чем по-русски.

В своей проповеди, названной “Бесноватые”, Иоанн Кронштадтский употребил слово, не сходящее с языка сегодняшней демократической прессы:

“К особенному роду бесноватых надобно отнести людей, так называемых либеральничаящих: то есть слишком свободно, вопреки христианскому и всякому здравому смыслу мыслящих”.

Он постоянно пытался напоминать литераторам об их великой ответственности перед обществом, перед народом, перед Россией:

“Вот характер наших борзописцев: живя в постоянной, ежедневной прелести самообмана, они прельщаются или стараются прельстить всех и сделать участниками своего самообмана”.

Книга Иоанна Кронштадтского, откуда взяты эти пламенные мысли, вышла при жизни проповедника и называется “Путь к Богу”.

Конечно, чрезвычайно трудно или почти невозможно слабым и грешным людям неукоснительно следовать таким высоким поучениям, но и убийственно для души человеческой подчиняться всем соблазнам и прелестям Серебряного века, неожиданно ожившим и принявшим разные обличья в наше время. Мне кажется, что печально знаменитый доклад товарища Жданова, произнесённый им в 1946 году в Ленинграде, был бы куда более убедителен, если бы он использовал в нём размышления о литературе и искусстве Серебряного века товарища Бунина, товарища Блока, товарища Франка, товарища Свиридова и товарища Коржавина... А если бы ещё атеист Андрей Андреевич был знаком с проповедями святого Иоанна Кронштадтского! – цены бы не было его докладу... Смею предположить, что такое, на первый взгляд, фантастическое развитие событий могло быть возможным после встречи Сталина осенью 1943 года с тремя высшими иерархами церкви и восстановления патриаршества по его державной воле.

Голоса Серебряного века, грязной “оттепели” и кровавой перестройки до сих пор звучат в нашей сегодняшней жизни. Включаю 2 февраля 2012 года TV-канал “Культура” и вижу фильм о знаковой фигуре этих родственных друг другу эпох – об Оскаре Уайльде. О том, как он, выйдя из Реддингской тюрьмы, где сидел за содомитство, был изгнан из Англии, ещё строго хранившей свои пуританские традиции, в растленный Париж, куда к нему приехал его английский супруг-партнёр. Однако последний, как следует из фильма, вскоре бросил несчастного Уайльда, поскольку тот не мог содержать своего любовника. Оставшись в одиночестве, лондонский денди опустился, растерял любой шарм, растолстел и вскоре умер. Похоронили беднягу при помощи его

бывшей жены на известном парижском кладбище и установили на могиле не крест, не бюст, а надгробье в виде гранитного Сфинкса.

...В последних кадрах фильма его создатель Роман Виктюк, картинно простирая руки к надгробному чудовищу, возопил, обращаясь к телезрителям:

– Вот видите! На отполированном граните алые пятна! Нет, это не лепестки роз, это следы поцелуев, которые оставили на камне поклонники великого писателя!

Поскольку, на мой взгляд, у женщин нет причины целовать надгробье Оскара Уайльда, то остаётся думать, что это геи всего мира оставляют следы алой помады со своих губ на отполированном граните, прикладываясь к нему, как верующие к иконе. А чему удивляться? Через сто лет после изгнания несчастного содомита во Францию в некогда чопорном пуританском Лондоне один из высших чинов англиканской церкви обвенчал какую-то однополую брачную пару. Так что дело Оскара Уайльда живёт и побеждает и в Соединённом Королевстве, и в России, потому, что фильм с Уайльдом и Виктюком был создан при финансовой поддержке Российского агентства по печати и массовым коммуникациям. Видимо, такие фильмы очень нужны нашему телезрителю, если они делаются на бюджетные деньги.

(Продолжение следует)